

Опубликовано в журнале:

«Знамя» 2016, №10

Михаил Шишкин

Гул затих...

От редакции | В основе текста — заключительное слово Михаила Шишкина на Международной научной конференции «Знаковые имена современной русской литературы» (Краков, май 2016 г.), посвященной его творчеству.

Много лет назад я все знал.

Я ничего еще тогда не написал, но знал про себя, что — писатель. Вернее, писал много, но ничего не получалось довести до конца. Я уже вроде бы существовал, ходил в школу, ездил на метро, ел, пил, но еще не стал настоящим. Существование необходимо доказать, поставив в тексте последнюю точку.

Мне была открыта сокровенная тайна мироздания. Все сущее состоит из атомов и прочей невидимой дряни, которую никто не видел и не щупал, каких-то там элементарных частиц. Но они-то, в свою очередь, состоят из букв.

Я знал, что будет потоп. Обещали ведь, что не будет, но наврали. Обязательно придет. Каждому — по потопу. И нужно спастись. Сколотить свою лодчонку. Написать свою книгу. Найти нужные слова, которые переживут сорок дней разверзшихся хлябей небесных.

Мы жили на «Щелковской», в хрущобе на 13-й Парковой, на последнем, пятом этаже, и поверх деревьев из окна виднелось здание местной школы, с четырьмя медальонами на фронтоне — писательские головы в профиль. Они тоже все знали и всю жизнь строили каждый свой ковчег. Что там осталось от их эпох? Брички? Кринолины? Примусы? Соседи? Прохожие? Любимые? Пшик. Их книги и стали теми эпохами.

Все дело было в том, — знал я, — чтобы написать правильные слова. Вот ученики встретили Его на пути в Эммаус и не узнали. Не поверили. Ведь в гроб сошел. И еще никто никогда не воскресал. А Он им: Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это — Я Сам. Осяжите меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И еще спросил: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему что ели сами, печеную рыбу. И взяв, ел пред ними.

Все дело в печеной рыбе. Рыба-то настоящая. Мертвые рыбу не едят.

Я в гроб сойду. На третий день восстану.

Сам текст «Живаго» после Бунина и Набокова казался какой-то расплывшейся словесной тушей, но стихи из романа я знал наизусть. Они меня спасали. Чаще в переносном смысле, но иногда в прямом.

Я учился на Арбате и ездил каждый день по часу туда и обратно. От нас до «Щелковской» можно было подъехать пару остановок на автобусе. Там ходили 52-й, 68-й, лучше, конечно, на 516-м, тот промахивал 11-ю Парковую экспрессом.

Помню, возвращался зимой из школы, выхожу из метро, страшный мороз, темно уже, автобусов нет, толпа огромная собралась, все топчутся, мерзнут, ругаются. Я пообедать не успел, а тут запах от горячих беляшей ноздри дерет — бабка в валенках продает беляши из огромного парного чана. Купил два беляша, сжевал, в животе сразу резь. Ноги задубели, пальцы от мороза ноют, нос вот-вот отвалится. Автобусов все нет. Люди, матерясь, идут пешком. Потоптался и тоже поковылял.

Плетусь в морозной темноте с резью в желудке и спасаю себя волшебными строчками:

И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.

И я тогда знал, что это Пастернак сказал про себя. Это он сошел в гроб, а потом восстал. Мы же ездили к нему в Переделкино на кладбище, и я знал, что там, под камнем, его не было. Вот рядом кладбище старых большевиков — там все шеренгами лежали на месте, где положили. А Пастернак там быть просто не мог, потому что он шел со мной по пути со «Щелковской» на 13-ю. Мимо один за другим проносились пропавшие автобусы, наверно, делали крюк через Эммаус. А он шагал со мной. В могиле его быть не могло, потому что он был во всем вокруг меня. Он был всем — паром изо рта, и полупустым 516-м, и съеденным беляшом, и резью в кишках, и задубевшими ботинками, и ледяными раскатанными на тротуаре дорожками, и матом, и звездами, и продрогшими пятиэтажками, и каждым, кто в них ютился.

Я знал, что это к нему на суд поплывут столетия, как плоты.

Знал, что и я поплыву когда-нибудь к нему на суд.

Тогда я все это знал.

А теперь пишу эти строки, за окном дождь, бесконечный, вот уже сорок дней никак не остановится, — и не знаю.

За стеклом в накрапах — игрушки разбросаны на мокрой траве. В алой пластмассовой песочнице потоп для человечков из лего. Розы положили свои тяжелые головы друг другу на спину, как лошади.

Может, я растерял то сокровенное знание по дороге?

Ведь я знал все, кроме времени. Да и не мог знать. Просто его еще не было. Было только будущее и не очень настоящее настоящее, походившее на затянувшееся предисловие.

Время — это когда ты смотришь в зеркало и удивляешься: откуда эта чужая седина? Откуда эта чужая морщинистая кожа?

И все еще тянутся те три дня до воскресения. И никакого Эммауса.

А в ту соседнюю школу с классиками на фронтоне мне пришлось походить.

Мама была директором в нашей 59-й на Арбате, и она меня выгнала. Последней каплей был субботник. Я ушел с ленинского коммунистического субботника и увел с собой половину класса. Так что доучивался по месту жительства.

В новой школе было великое преимущество — вставать не нужно было рано. Из дома выходил за пять минут до звонка. Правда, это оказалось единственным и последним преимуществом.

По литературе проходили Толстого. Чуть ли не на первом же уроке — классное сочинение по «Войне и миру». Все открывают учебники и списывают. У нас это было бы немислимим. С другой стороны, хоть перестали плевать друг в друга мокрыми катышами через трубочки от шариковых ручек.

Почти всем моим новым одноклассникам литераторша поставила пятерки, мне единственному досталась тройка. На вопрос умника «а почему?» получил ответ:

— Отсебятина.

Отсебятина! Кажется, впервые тогда почувствовал, что критика может быть наградой.

— Но Толстой ведь тоже — отсебятина.

Как она оскорбилась за Льва Николаевича, и за «Войну и мир», и за всю русскую литературу!

Какое чудесное слово — отсебятина! Спасибо тебе, русский язык!

Сказать, что новенького не полюбили, — ничего не сказать.

У нас в школе «война» была цирком с отставным полковником на арене. А тут все оказалось по-другому. Здесь у военрука на уроке был порядок, как на Красной площади во

время парада, все даже сидели навтыжку и к доске выходили торжественным шагом, оттягивая носок. «Калашников» разбирали и собирали, завязав повязкой глаза, с секундомером и удалью. На своего майора юноши, не говоря уже о девушках, смотрели влюбленными глазами. И вообще, класс, который только что бесился и срывал урок беременной биологичке, на НВП было не узнать.

Военрук был совсем еще не стар, в отставку вышел по ранению, левая рука всегда была в черной перчатке и звонко стучала, когда он опускал ее на стол. Про него говорили, что он «исполнял интернациональный долг» где-то за границей, но это военная тайна. Короче, он был героем.

На первом же занятии новенький заявил, что он пацифист, в людей стрелять никогда не будет и до автомата не дотронется. Предупреждение, что он получит плохую отметку, вызвало у него лишь снисходительную усмешку.

— Но скоро класс поедет на стрельбы, мы будем соревноваться с другими школами. Ты же не хочешь подвести твоих товарищей?

Но и этот аргумент не поколебал стойкость пацифиста.

Помню, что услышал в голосе майора настоящую печаль. Он сказал с горечью:

— Ты — плохой патриот, Шишкин. Когда начнется война, твои одноклассники пойдут умирать за родину, а ты станешь дезертиром.

И его черная перчатка поставила деревянную точку.

Это прозвучало приговором, а я, может, впервые ощутил, что такое чувство собственного достоинства. Это когда тебя будут бить, и ты к этому готов.

Меня били за гаражами, около школьной помойки. Парни из класса выкрутили мне руки, и по очереди от каждого я получил поддых. Потом засунули в бак с мусором.

Те, что в медальонах на фронтоне, отвернулись, только косились и еле слышно сквозь зубы: а ты как думал? Ты на нас посмотри! Нас тут самих построили — в затылок друг другу по стойке смирно. Кто это из наших сказал, что вечность на самом деле — изба с пауками? Wishful thinking! Вечность — это когда тебя, не спрашивая, во все дырки. Но им надо все простить, ибо не ведают что творят. Нас построили — и тебя построят. Будешь шагать в ногу и смотреть в затылок. Не сахарный, не растаешь. Die erste Kolonne marschiert, Сусанна должна ждать старцев, жизнь прожить — не поле перейти. Понимаешь, это — наша страна. Но они ее оккупировали. И ты в плену. Война. И они, оккупанты, могут сделать с тобой что захотят. Урыть, отмудохать, облевать. Но им недоступно твое сокровенное знание. Это ведь только им, наивным, кажется, что они начальник, а ты дурак. Чудаки, право слово! Не однорукий майор имеет над тобой власть, а ты над ним. От тебя только зависит, исчезнет он или останется. Захочешь, когда-нибудь возьмешь и воскресишь его, скажешь ему, давно сгнившему, выйди вон! — и он тут как тут выскочит из небытия и снова вздохнет горько: «Шишкин, ты плохой патриот!» Вот увидишь, все так и будет! На войне нужно победить. Победить — это выжить, чтобы написать. Или написать, чтобы выжить. Что-то мы тут запутались, но это не важно. Короче, выжить, чтобы написать, чтобы выжить. Вот это твоя война, и ты не дезертир. Помни, ты в плену у врагов, у тебя есть то, чего нет у них, — твое сокровенное знание, за которое ты отвечаешь. И, кстати, черную перчатку с деревянным стуком возьми себе, пригодится! Можешь потом отдать какому-нибудь проходному персонажу, такие детали запоминаются. И главное, заруби себе на носу: победить — это поставить точку в конце текста.

На следующем уроке военного дела новенький взял автомат и стал его разбирать.

И я знал, зачем это делаю. Это была моя война, и я не был дезертиром.

Однорукий военрук тогда сказал не «если» будет, а «когда». Странно, казалось, у всех была уверенность, что войн больше не будет. А войны потом пошли гуськом и оравой. Так что возможностей умереть за родину было достаточно. Умирай не хочу. Наверно, у майора тоже было какое-то свое сокровенное знание.

Когда началась афганская, я был студентом. В педагогическом институте на ром-герме была военная кафедра, из нас готовили переводчиков. Раз в неделю мы ходили строем и учились переводить допросы пленных солдат Бундесвера.

После четвертого курса нас отправили в летние лагеря под Ковровом недалеко от Владимира. Вернувшись оттуда, я взялся за повесть. Впервые я поставил точку в конце текста. В нем было много мата, задора, молодой злобы и радости слов — короче, в тексте было до отвала первого писательского счастья и рядовой Говнюк писал письмо космонавтке Терешковой.

Произведение с названием «Пиф-паф, ой-ой-ой!» получилось очень юношеским, и поэтому юноша через какое-то время его уничтожил.

Был бы камин, не было бы проблем. Рукописи, понятное дело, не горят. Но я положил тот текст в мусорное ведро и вынес на помойку. Вот вопрос: выброшенные на помойку рукописи не горят?

Запомнилась ночь перед отъездом в лагеря. Сбор был на Курском вокзале рано утром. Я всю ночь не мог заснуть. Была жуткая гроза, но не спалось мне, конечно, не из-за грозы. Все тело гудело, так гудят провода от тока. Это гудел еще не написанный текст. А может, все ненаписанные романы, которые ко мне приближались уже из темноты, но нужно еще было долго жить, чтобы их дождаться. Я не мог лежать от этого гудения, вскакивал, бродил по квартире, сидел подолгу у окна и смотрел, как на улице все полыхает и содрогается. И внутри, в комнатах все грохотало — это храпели мама и тетя Лида.

Тетя Лида была двоюродной сестрой мамы и приезжала раз-два в год в Москву с Украины. Тогда вся страна регулярно ездила в столицу заговариваться. С утра до ночи она бегала по магазинам, выстаивала в очередях и увозила в свое Запорожье все, что могла достать, от колбасы до пылесоса. Я обычно провожал ее на Киевский с неподъемными чемоданами и коробками. Она была женщина пышная, и разговоры у них с мамой без конца велись о разных диетах и чудесных способах похудения. Мама где-то прочитала про парижскую диету, и в один из приездов тети Лиды обе решили худеть, как парижанки. За весь день можно было съесть лишь одно яблоко и кусочек сыра. Никогда не забуду, как тетя Лида, бодро продержавшись на диете до самого вечера, не выдержала и навернула перед сном тарелку борща с рюмкой водки.

У нее был сын, Алеша, на два года младше меня. Он был заикой и обычно «да» или «нет» брал только с третьего или четвертого захода. Иногда тетя Лида привозила его с собой в Москву. Мне с ним было неинтересно. Он не читал ни одного запрещенного поэта или писателя, даже не слышал их имен. Его интересовали только модели самолетов. У себя в Запорожье он был математическим вундеркиндом. Когда я был на втором курсе, он приехал с тетей Лидой на вступительные экзамены в МАИ. Никто не сомневался, что сдать экзамен для него будет легким орешком. Но Алешу не приняли. Разумеется, не из-за его заикания. В конкурсе знакомств и протекций у него было слишком мало шансов. Алеша вернулся домой, а осенью его забрали. В декабре начался Афган.

Куда Алешу послали после учебки, было неизвестно. Помню, как мама по телефону успокаивала тетю Лиду, что его туда точно не пошлют, мол, туда совсем молодых и неопытных разве посылают?

Туда его и послали.

Из Запорожья мы получили телеграмму: «Алеша погиб».

Через пару месяцев тетя Лида снова приехала в Москву за покупками. Весь первый вечер она с мамой проплакала за столом на кухне. Рассказала, как им привезли гроб, который нельзя было открыть. В официальном письме было написано: «Ваш сын погиб при исполнении интернационального долга». При этих словах тетя Лида снова разрыдалась:

— Какой долг? Почему долг? Зачем убили моего Алешеньку?

Еще она рассказала, что у кого-то из знакомых сын тоже служил в Афганистане и вернулся по ранению. Он привез с собой горстку афганской земли, и тетя Лида попросила себе немного. Она достала из своей сумочки свернутый носовой платок, положила на стол и осторожно развернула.

Кусочек засохшей глины. Ничего особенного.

Потом бережно завернула обратно, прижала к груди и снова заплакала.

А на следующий день тетя Лида, как обычно, побежала по магазинам. Вечером вернулась с полными сумками, уставшая, но довольная. Особенно радовалась, что смогла достать зимние сапоги. Она надела их и ходила, цокая каблуками, заполняя квартиру резким запахом кожи и обувного магазина.

Я смотрел на нее и знал теперь больше, чем раньше, но это было какое-то другое знание, не сокровенное, но от этого не менее настоящее. А может, и более. Вот передо мной радовалась новым сапогам женщина, у которой отняли самого ей дорогого человека на свете. Убили на чужой войне. И убили, наверно, как убивали в Афганистане, с бессмысленной жестокостью. Ведь рассказывали, как там убивают. Просто отнять жизнь мало, нужно еще обезобразить труп, выколоть глаза, набить камни в разрезанный живот. И вот теперь эта женщина рассказывала, где и сколько она стояла в очереди и что ей удалось добыть. И каблуки так звонко цокали по плиткам пола на кухне, что тетя Лида даже не удержалась и прошла чечеткой. А потом они с мамой обсуждали какую-то новую диету.

Это было такое простое оглушительное знание.

И вот снова тетя Лида была у нас в гостях. Снова они с мамой, обнявшись, плакали, вспоминая Алешу. А потом вечером пошли куда-то в театр, вернулись поздно и теперь храпели наперегонки с раскатами грома.

А еще я не спал из-за того, что поссорился с моей любимой. Поругались из-за ерунды. Сейчас даже не помню, что там произошло. И не хотелось уезжать в военные лагеря вот так, разорванным.

Потом гроза кончилась, быстро рассвело, я оделся, набросил на плечо собранный накануне рюкзак и отправился на Курский вокзал.

Начались дни и ночи, битком набитые муштрой, пылью, голодом, усталостью и поносом. Спасал карманный английский словарь, который я всегда носил с собой в солдатских галифе образца великой отечественной. При первой возможности вынимал его и листал. Принимал вокабуляр как лекарство. Буквы защищали меня как оберег.

Носки сразу же отобрали, пришлось познать портянки. Результатом этого знания были кровавые пузыри у всех на ногах. Хромоногая команда. На следующий день все поковыляли в медпункт — дощатая будка, в которой забаррикадировался студент-медик. Требовали пластырь.

— Ребята, да нет у меня ничего! — кричал он из-за двери.

Все продукты мы обязаны были сдать, но никто, конечно, ничего не сдал, а консервы закопали в лесу, кто-то опытный из уже отслуживших подсказал. Лагерная еда желудком не переваривалась, всех пучило, и каждый беспрерывно исторгал из себя газы. По воскресеньям устраивали набеги на ближайшую деревню, чтобы украсть молодую тонкую морковку с грядки или обтрясти яблоню. Неудивительно, что у всех был понос.

На сборах были студенты из разных вузов, переводчики, историки, биологи, филологи, юристы, философы. Философы, кстати, были в мотопехоте, их муштровали больше всего. Нас, переводчиков, чаще освобождали от занятий, когда нужно было отправить кого-то, например, на разгрузку машины. Офицеры говорили мотопехам:

— Вот попадете в Афган, вспомните нас добрым словом. Учитесь стрелять получше!

Еще у нас были ребята из Института Азии и Африки, которые изучали пушту и дари. К тем вообще отношение было особое, как к смертникам. На них никогда не кричали и не отправляли в наряд. Всем было ясно, что этих парней не ждет ничего хорошего.

Мы всегда и всюду топали строем и с песней. Из «калашникова» стреляли лишь один раз. С вечера до утра мучило ненасытное комарье — не помогали никакие мази, ходили все исцарапанные до крови. Уборной избегали — загадили весь лес кругом. По команде «подъем» хотелось всех расстрелять.

Человек быстро обрастает звериной шерстью.

Наряд на кухне означал возможность нажраться деликатесом, не доходившим до солдатского стола, — тушенкой. Открываешь банку и съедаешь половину. Вторая половина шла на офицерский стол. Угрызений совести не было. В конце концов ты съедал только то, что тебе и так было положено, но съедалось другими. А теперь наступала твоя очередь.

Память выметает обрывки.

Утром с голым торсом нужно бежать в тяжелой кирзе на зарядку, у всех руки и шея черные, а тела белоснежные, вернее, синюшные.

Вот мы зубрим устав под навесом, а по крыше накрапывает редкий сонный дождь.

От недосыпа раскалывалась голова. За ежедневной чисткой автомата все время клюешь носом и отключаешься на несколько мгновений.

На тактических занятиях разбегаемся «елочкой», залегает. Перед самым носом — высохшая колючая шкурка от мертвого ежа.

Нужно было окапываться саперной лопаткой, а кругом заросли земляники. Ягоды спелые, запах ползет, как лазутчик.

Топаем по проселку, и сапоги вздымают клубы пыли, плотные, ядовитые, ни откашляться, ни отперхнуться.

У меня пропала пилотка. Кто-то украл. Эту украденную пилотку я потом через много лет отдал моему герою в «Письмовнике». Наш институтский полковник Иванов, приехавший на сборы уже пьяный после обеда, процедил сквозь зубы:

— У тебя, Шишкин, пилотку сперли. Вот пойдешь ты у кого-нибудь! Я тебе нашу кафедру позорить не дам! Не будет пилотки — будешь каждый день в наряд ходить сортир драить. Понял?

Драить сортир было главным наказанием и, если увидеть тот залитый жидким говном настил с дырками в полу над выгребной ямой, и не просто увидеть, а вдохнуть всей грудью, то станет понятно, почему.

И за это знание я благодарен: в говне нет ничего грязного.

Удивительно, как устроен человек — еще только что меня тошнило от одной мысли зайти туда, а вот уже я со шваброй, тряпкой и легким сердцем отправляюсь мыть лагерные уборные. Это была моя свобода. Сам весь измазался и пропах. Отмывался потом ледяной водой битый час. Собирался идти в наряд и назавтра. Не пришлось. На следующий день отделение дежурило на кухне, один парень из испанской группы нашего факультета разгружал машину с хлебом, споткнулся и упал. Со сломанной рукой его увезли в больницу во Владимир. Мне досталась пилотка.

Вообще было много глупостей, смешных и не очень.

Проходит мимо прапорщик, воскресенье, видит, что мы в свободное время спать завалились, приказывает вырыть вокруг палаток канавки. Выкапываем. Возвращается прапорщик, видит, мы уже все выкопали, приказывает:

— Закапывайте!

Кто-то возмущенно:

— Но для чего?

А прапорщик ему выдал никак не ожидаемое:

— Для всеобщей гармонии!

Это стало у нас в лагерях присказкой и девизом: для всеобщей гармонии. Решили, что прапорщик был тайным конфуцианцем.

Что-то было совсем не смешно.

На марш-броске — пятнадцать километров с полной выкладкой под палящим солнцем — умер студент с исторического факультета МГУ. Все ходили придавленные и передавали друг другу слово «тромб».

Время перед отбоем — самое дорогое. Можно немножко вернуться в себя. Заварить чаю. Все сделали себе самодельные кипятильники, я таких раньше никогда не видел: между лезвиями от безопасной бритвы нужно проложить спички, обмотать нитками и приделать два проводка. Кружка вскипала моментально.

Запомнилось, как в один из первых вечеров вдруг услышали Высоцкого. Магнитофоны брать с собой было, конечно, нельзя. Вообще, ничего было нельзя, кроме зубной щетки. А тут живой Высоцкий под живую гитару. Все высыпали из палаток, пошли на голос. Ведь не мог же человек восстать из гроба? Он умер прошлым летом.

Оказалось, что это кто-то из университетских мотострелков. Он потом вечерами часто пел. Его так и звали все — Высоцкий.

Сидишь, пришиваешь подворотничок, и песни эти тебя из лагеря уносят, можно забыться, вспомнить что-нибудь хорошее.

Я видел живого Высоцкого только раз. В «Гамлете» на Таганке. Это было летом 80-го, перед самой олимпиадой. Наверно, вообще один из последних спектаклей с ним. Там все самое главное произошло уже до начала, до первых произнесенных со сцены слов. Высоцкий сидит в глубине сцены перед знаменитым огромным занавесом, смотрит на входящих в зал и наигрывает на гитаре. А потом, когда публика рассаживается, он встает, выходит на авансцену, и начинается:

— Гул затих, я вышел на подмости...

Так должно было быть. Но вот все уже расселись, шум затих, и Гамлет должен встать. И вдруг зал замирает, потому что Высоцкий отложил гитару, а встать не может. Всем было понятно: происходит то, что не должно происходить. Он несколько раз пытался подняться, хватался за занавес, но нога у него не сгибалась. Он просто не мог встать. Это не было уже театром, это было что-то намного больше самого великого театра, борьба человека с чем-то, что сильнее его. На его лице уже было все. Он уже все про себя знал.

Прошла пара минут, но казалось, что времени уже вообще больше не будет.

В конце концов Высоцкий встал, подошел, чуть хромая, к авансцене, помолчал немного и начал спектакль:

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далёком отголоске
Что случится на моём веку.

Века у него уже не было. Ему оставались считанные дни.

Странно, в песнях и фильмах Высоцкий совсем другой. На сцене он был очень нежным Гамлетом.

В десять отбой. Хотелось поскорее забыться хоть на несколько часов, пусть и в душевной палатке на вонючем матрасе под зудение комаров и матерные вздохи.

Уже в полузабытии иногда приходила она, моя любимая, пожелать мне спокойной ночи. Наша ссора теперь казалась такой никчемной и невозможной. Было совершенно непредставимо, как мог я бросать ей обидные слова, такие глупые, такие несправедливые! Готов был простить все, что она мне наговорила, лишь бы снова оказаться с ней хоть на час. На день. Еще лучше на два дня. Нет, на три. Теперь казалось, что за возможность встретиться с ней все бы отдал и был бы самым счастливым на свете. Говорил бы ей все ласковые слова, каких никогда не говорил. Вырваться отсюда только на три дня к ней было бы абсолютным счастьем. Любил бы ее с утра до утра и в минуты отдыха записывал

бы текст, который уже пришел, бился под кожей, слова уже сами стремились в объятия друг другу, как кусочки пазла. И эти три дня никогда бы не кончались.

Потом была ночь, когда я должен был стоять под грибком, охраняя склад с оружием.

У меня был штык на поясе и целая звездная ночь впереди.

Нам сказали, что в соседней зоне был побег и что эски могли прийти сюда за оружием. Может, так и было, а может, пугали, чтобы мы сразу не устроились спать.

Я подождал, пока лагерь замер, и отправился в ближайший лесок, где под заветной елкой были закопаны банки со сгущенкой, которые сварила для меня перед отъездом мама. Вернулся на пост и вскрыл банку штыком. Если вспоминать пики счастья в жизни — это был один из них.

Из палаток до меня доносился храп, кто-то стонал во сне, а я слизывал со штыка вареную сгущенку, смотрел на звезды и мечтал о том, как я все это когда-нибудь опишу.

Вдруг в темноте за кустами мелькнула чья-то тень, и я услышал шаги. В голове промелькнуло: эски! Сейчас меня прирежут, а я еще ничего в этой жизни не сделал, ни одного текста до конца не дописал! Но это оказался парень с английского отделения, который стоял в карауле на другом конце лагеря. Мы доели эту банку, и я сбегал еще за второй.

Мы сидели под небосводом, заросшим звездами, ели вареную сгущенку и читали друг другу стихи, кто больше знает.

Утром меня, очумелого после бессонной ночи, вызвал наш полковник, тот самый, из истории с пилоткой, и сказал:

— Тут такое дело, Шишкин...

И протянул телеграмму.

«Миша дедушка умер похороны срочно приезжай мама»

Похлопал по плечу:

— В общем, так: сдавай оружие и обмундирование прапорщику и поезжай. Можешь уже не возвращаться. Чего там — три дня осталось.

Я все сдал, переделся в гражданку, ставшую вдруг такой чужой, и отправился на станцию.

Я помню, как умирал дед.

Он умер зимой. Я был в восьмом классе. Приехал к бабушке и дедушке на каникулы, хотя в этом возрасте — мне было тринадцать — поездки в Удельную были уже семейным долгом, а не радостью. В этот раз со мной приехала и мама, наверно, ей позвонила бабушка и сказала, что дела плохи.

Дед, как обычно, лежал в своей постели. Но взгляд его был какой-то совсем другой, новый, я раньше этого взгляда не знал. Бабушка мне шепнула в коридоре:

— Вот, Миша, дедушка наш — не жилец.

Она уже знала этот взгляд, а для меня это было впервые. Во мне все возмутилось против нее:

— Ну как ты можешь!

Бабушка в ответ лишь тяжело вздохнула.

Дед уже не разговаривал, ему было совсем плохо. Вызвали врача. Вызов «скорой» в то время был приключением. Нужно было бежать на почту на другую сторону железной дороги, там были телефонные кабины. Послали вызывать «скорую» меня. На том конце провода все никак не могли поверить — голос-то мальчишеский — задавали всяческие вопросы, проверяли.

— А то звонят хулиганы, «скорая» приезжает, а никакого больного нет!

В конце концов я как-то сумел их убедить, что не хулиганю. Пообещали послать машину.

«Скорая» из Раменского ехала целый час. Причем нужно было стоять на углу Солнечной и нашего Солнечного тупика, чтобы они не заблудились. Я весь продрог, пока их ждал. В тупик машина не поехала, там все было завалено снегом и шла только

протопанная в сугробах тропинка. Врач сунул мне свой чемоданчик, оказавшийся ужасно тяжелым.

Помню, меня удивило, что доктор говорил с дедом каким-то наигранным бодряческим тоном, как с ребенком. Дед ничего ему уже не отвечал, только смотрел на него все тем же пристальным взглядом.

Дед задыхался. Врач сказал, что здесь, в домашних условиях, ничем он помочь не может, нужно забирать в больницу. Врач уехал, за дедом должна была приехать другая машина. Стали его собирать, выяснилось, что нет теплых носков. Меня послали в магазин на станцию за носками. Перед тем как бежать в магазин, я зашел к дедушке. В комнате никого больше не было.

Деда трясло, кровать ходила ходуном. Лоб сверкал от пота. Руки дергались. Он скосил желтые помутневшие глаза и смотрел на меня. Хотел что-то мне сказать, но вместо слов его горло выдало какую-то странную трель. Так под эту трель я и ушел. Помню, как бежал за этими дурацкими носками. Когда вернулся минут через двадцать, дедушка уже умер. Наверно, за носками меня специально послали, чтобы я не видел смерти. Думали, пока я туда, пока обратно, много времени пройдет. А я мчался что есть мочи. Но сам момент смерти я действительно пропустил.

Все тогда делали сами. Обмывать тело позвали помогать соседку.

Деда положили на стол на террасе. Она не отапливалась. На террасе складывали осенью яблоки в ящиках. После морозов они чернели. Я ужасно любил замороженные яблоки. Когда оттаивали, они растекались во рту, сочные, сладкие.

Похороны были в воскресенье. Те два или три дня перед похоронами я на все смотрел как в иллюминатор какого-то батискафа. Как они все тут живут и не знают чего-то важного? А вот я теперь знаю. Или они тоже все знают? Тогда почему делают вид, что ничего не знают?

День похорон был солнечный, началась оттепель. Снег хорошо лепился. Помню, как мне неприятно было, что брат затеял, пока все собирались, кидаться снежками.

Приехали какие-то люди, которых я совсем не знал, но в основном пришли соседи.

Когда переключали тело в гроб, я поднимал его за бедро — меня поразило, что дедушкино тело стало твердым и звонким, будто это не человек, а фигура изо льда.

Хоронили на кладбище в Малаховке. Деда положили в могилу к его первой жене, моей бабушке Розе.

Когда закрывали гроб крышкой, нужно было подойти и поцеловать. Я подошел. Но поцеловать то, что там лежало, так и не смог.

Гроб выскользнул из веревок, лег как-то криво. Когда забрасывали могилу песком, мама заплакала. Я обнял ее. Она тихо сказала:

— Вот же здесь должна лежать моя мама, а от нее ничего не осталось за двадцать три года.

Помню, что тогда вдруг задумался, может ли за это время гроб с телом человека так разложиться, чтобы ничего не осталось? Ведь не может же? Значит, они вырыли могилу где-то рядом. На старых кладбищах соседи все время друг друга теснят. Вполне вероятно, что рабочие чуть передвинули полузабытый памятник с оградой, чтобы дать место вновь прибывшим.

Кто бы мог подумать, что через столько лет дед воскреснет и опять умрет, чтобы вот так снова появиться в моей жизни, смертью смерть поправ.

Я не шел по лесу к станции, я летел над разбитой дорогой и пыльными кустами.

Я знал, кто послал телеграмму.

Впереди меня ждали три бесконечных дня любви и свободы.

Электричка была переполнена. Там были бабы, слобожане, учащиеся, слесаря. В ту минуту я их тоже любил.

Пришлось всю дорогу стоять, но мне было все равно. В руках у меня был заветный блокнот. Я записывал уже давно пришедшие слова:

«Уважаемая Валентина Николавна! Пишет Вам из далекой Н-ской части рядовой Говнюк. Вам из космоса земля наша кажется совсем маленькой, не больше капустного кочана, и меня, наверно, и не видно. Но я есмь».

В вагоне стояла духота, все пытались открыть окна, но они были завинчены на зиму. Воздух шел только из одной разбитой фрамуги.

Как сейчас ощущаю тот тугий напор ветра на быстром перегоне, холодящий потную кожу. За спиной тлеет перебранка, младенец надрывается, вагон дребезжит, колеса грохочут, встречные ревут, но для меня гул затих.

И я знаю, что эти три дня будут длиться и никогда не кончатся, и пальцы, укрощая дрожь электрички, выводят: я есмь.